

Двѣ замѣтки.

І. К вопросу об источникѣ пѣсни „Яныш-Королевич“.

Пушкин проявлял живѣйшій интерес к народной поэзіи не только русской, но и других славянских народов. Извѣстно, с каким увлеченіем он изучал сербскія пѣсни, сам записывал их от сербских воевод в Кишиневѣ, перевел двѣ пѣсни из собранія Вука Караджича 1824 г., воспѣл подвиги Георгія Чернаго и возстаніе Милоша, повидимому, по тѣм рассказам, которые слышал из уст близких участников возстаній и вообще по мотивам сербских пѣсен¹⁾. Но, несмотря на непосредственное знакомство с сербской пѣсней, он поддался мистификаціям Проспера Мериме (*La Guzla* 1827), и т. н. «Пѣсни западных Славян» представляют стихотворную обработку прозаических рассказов Мериме (11 из 29). В сущности только одна из этих пѣсен Пушкина принадлежит западным Славянам — это «Яныш-королевич», как полагают, заимствованная поэтом из чешской народной поэзіи. Пушкин неясно говорит о ней в примѣчаніи: «Пѣсня о Янышѣ-королевичѣ в подлинникѣ очень длинна и раздѣляется на нѣсколько частей. Я перевел первую и то не всю». Эти указанія поэта однако весьма цѣнны: он перевел какую-то очень длинную пѣсню, раздѣленную в подлинникѣ на три части, очевидно — пѣсню не народную, а какую-то литературную обработку ея.

¹⁾ В послѣднее время Н. Кривцов в книгѣ «Сербскій эпос» (Москва, 1933, стр. 187) высказывает мнѣніе, что пѣсни о Милошѣ и Георгіи Черном, а также и Яныш-Королевич — «видимо простыя подражанія, чрезвычайно далекія от эпических пѣсен». Далѣе (на стр. 188) он повторяет свое мнѣніе: «Видимо — это подражанія, матеріал для которых дали общія представленія Пушкина об исторіи, бытѣ и пѣснях сербов. Вызваны они были тѣм интересом к балканским славянам, который столь характерен для Россіи начала XIX в.» Не касаемся оцѣнки двух пѣсен Пушкина, созданных на темы из сербской исторіи и с удивительной проницательностью передавших характер сербскаго эпоса, но то, что сказано о них, никак не может быть отнесено к «Янышу», так как здѣсь нѣтъ ничего балканскаго, и тема «Яныша» относится к совершенно иной области. Невѣрна и широкая фраза о «давно извѣстных книжных первоисточниках Пѣсен зап. Славян» Ю. Г. Оксмана, К исторіи библиотеки Пушкина. Инст. русской лит. Акад. наук. Сборник статей, посвященных акад. А. С. Орлову, стр. 443.

Чешская народная поэзия не знает эпических пѣсен; подобнаго сюжета в существующих собраніях народных пѣсен не находим, поэтому высказывалось предложеніе, что такого подлинника во все и не было, как не было подлинников «Скупого рыцаря» и других мнимо-переводных произведеній Пушкина, что здѣсь мы имѣем дѣло с мистификаціей поэта. По мнѣнію новѣйшаго комментатора, и самое примѣчаніе к пѣснѣ слѣдует разсматривать, как нерѣдкій вообще у Пушкина приѣм маскировки автобіографическаго произведенія при помощи ссылки на не существующій подлинник (Вл. Ходасевич, Русалка. Предположенія и факты. Современныя Записки, XX, Париж, 1924, стр. 302). И «Яныш» и «Русалка» имѣют будто бы опредѣленно автобіографическій характер; к ним изслѣдователь относит и стихотвореніе «Как счастлив я». Поэт один из моментов своей личной, глубоко-интимной жизни отобразил первоначально в лирической формѣ, потом в эпической пѣснѣ, яко бы переведенной с какого-то чужого языка, принимаемой обычно за чешское народное сказаніе, и наконец, в драматической формѣ — в «Русалкѣ». Почему Пушкин включил эту мистификацію в число «Пѣсен Западных Славян», на этот вопрос отвѣта не дано.

Относительно драмы акад. И. Н. Жданов доказал, что она возникла под вліяніем русской передѣлки оперы К. Ф. Генслера «Das Donauweibchen», приспособленной для русской сцены в 1803 г. Н. С. Краснопольским, под названіем «Днѣпровская русалка». Пушкин знал «Днѣпровскую русалку», и связь его творенія с этой оперой не подлежит сомнѣнію. Новѣйшій изслѣдователь вопроса о генезисѣ «Русалки» (Вл. Ходасевич) полагает, что всѣ три отмѣченныя выше произведенія Пушкина вообще возникли под вліяніем названной передѣлки Краснопольскаго.

Сюжетное родство «Яныша» и «Русалки» очевидно, но по времени созданія оба произведенія раздѣлены нѣкоторым промежутком: «Русалка» возникла в ту болдинскую осень 1830 г., которая отмѣчена чрезвычайно высоким подъемом творческих сил поэта (первая сцена ея закончена была в апрѣлѣ 1832 г.); «Яныш» вошел в «Пѣсни западных Славян» 1833 г. Если источник «Русалки» опредѣлен с точностью и убѣдительностью, то этого никак нельзя сказать о происхожденіи «Яныша». Пушкин, без всякаго сомнѣнія, использовал какую-то литературную обработку близкаго к «Русалкѣ» сюжета и создал эпическую пѣсню, включив ее в «Пѣсни зап. Славян», взятая из сборника Мериме и сочиненныя

самостоятельно. Книжный характер «Яныша» не подлежит сомнѣнію, — народной чешской пѣсни подобнаго содержанія Пушкин не мог имѣть, ибо ея нѣтъ и не было ни в подлинном видѣ, ни в переводѣ. Внимательное изученіе «Яныша» открывает в нѣкоторой степени тѣ элементы, из которых он созданъ. В нем наряду с именем чешской королевы (вм. княжны) Любуши, приведенном здѣсь в необычной для чешскаго языка формѣ: Любуся, упоминается еще только одно чешское имя — названіе рѣки Моравы (впрочем, извѣстное и на славянском югѣ, у сербов и болгар). Имена королевича (Яныш) и его возлюбленной, молодой красавицы Елицы уже не звучат по-чешски: Яныш можно сопоставить с словенским Јапоѡ (Јапоѡіk) или мадыарским Јанос, но Елица есть опредѣленно имя сербское, югославянское (Јела, Јелиса). Первое Пушкин гдѣ-то вычитал и точно воспроизвел, измѣнив только суффикс; имя Елица он мог слышать в Кишиневѣ из уст сербов-бѣженцев, оно знакомо было ему и по сербской пѣснѣ «Сестра и братья» (Бог никому дужан не остаје), переведенной им из собранія Вука Караджича. В группу пѣсен опредѣленнаго происхожденія он вносит одну, яко бы чешскую по темѣ, переведенную им с какого-то подлинника, очевидно, не только не чешскаго, но и не славянскаго. Пушкин отнес своего «Яныша Королевича» к числу тѣх же «пѣсен западных Славян», к которым принадлежали и переводы из сборника Мериме, и из собранія Вука Караджича, и собственные двѣ пѣсни на темы сербской новой исторіи. Каковы бы ни были намѣренія поэта при созданіи «Яныша», в своем замыслѣ он не был самостоятельным творцом сюжета. Литературныя обработки тем о русалках, водяницах, ундилах, влюблявшихся в молодых людей и губивших их, или обратно — о дѣвушках, обольщенных мужчинами и утопившихся с горя, были обильно распространены на Западѣ, и можно без натяжки допустить, что Пушкин в каком-нибудь из иностранных журналов, сборников или альманахов, вѣроятно же всего — в изданіях французских, познакомился с произведеніем неизвѣстнаго нам автора эпохи до 1830 года. В послѣднее время изслѣдованіями А. А. Ахматовой и М. К. Азадовскаго опредѣлены с большою точностью источники нѣкоторых сказок Пушкина. «Золотой пѣтушок», как безспорно доказала Ахматова, оказался передѣлкой англійской сказки Вашингтона Ирвинга (из книги «The Alhambra», London 1832), извѣстной Пушкину в французском переводѣ «Le contes d'Alhambra» (есть в библи.

поэта), а «Царь Салтан» явился плодом знакомства поэта не только с русскими, но и с чужими сказками. Он был знаком с сказками Гриммов в французском переводѣ (См. А. А. Ахматова, Последняя сказка Пушкина. Звезда, 1933, № 1; М. К. Азадовскій, Источники сказок Пушкина. Пушкин. Временник Пушкинской комиссії, I. 1936).

Этот путь обращенія к западно-европейским матеріалам приведет, надо полагать, и к разрѣшенію загадки об источникѣ мнимо-чешскаго преданія о Янышѣ — Любушѣ. Пушкин не знал чешскаго языка, не мог поэтому читать это преданіе в подлинникѣ, если бы таковой и существовал; нѣмецкій язык ему был мало извѣстен, и он предпочитал книгу французскую, — к ней он обращается в двух отмѣченных выше случаях. О литературных обработках темы о Любушѣ в нѣмецкой литературѣ весьма подробныя свѣдѣнія собрал проф. А. Краус в трудѣ «Stará historie česká v německé lit.», Praha, 1902. В пѣснѣ Пушкина есть правда имя Любуши (в своеобразной передачѣ: Любуся), но нѣтъ ни чего из сюжета о чешской княжнѣ Любушѣ и ея легендарной роли. И. Н. Жданов обратил вниманіе на нѣкоторыя народныя преданія о водяных женщинах, записанныя в Чехіи (напр., два из сб. S. V. Grohmann, Sagen aus Böhmen), и высказал при этом мысль, что одно из подобных преданій могло быть обработано Пушкиным в пѣснѣ «Яныш Королевич». Однако среди них нѣтъ параллели к «Янышу». Остается отвѣтить на вопрос, гдѣ он его встрѣтил, в какой литературной обработкѣ? Усилія изслѣдователя будут направлены не к славянским или нѣмецким источникам, литературным обработкам, а вѣрнѣе всего к французским. В французских Archives littéraires de l'Europe, t. I, 1804, p. 258—268; II, p. 95—108, помѣщены были, на примѣр, переводы двух русских сказок (contes russes) из собранія Чулкова: О Василии Богуслаевичѣ (Basile, fils de Boguslas) и О Чурилѣ Пленковичѣ (Tschourilo Plenkowitz). Поиски в такого рода изданіях может быть приведут к тому очень длинному «подлиннику», который был использован Пушкиным.

Много лѣтъ спустя послѣ того, как на петербургской сценѣ была поставлена «Das Donauweibchen» Генслера сюжет «Русалки» заинтересовал извѣстнаго автора русскаго гимна А. Ѳ. Львова (1798—1870). Лѣтом 1844 года он вмѣстѣ с польским композитором и петербургским капельмейстером В. Кажинским (W. Każyński, 1812—1870) был в Прагѣ, познакомился здѣсь с Ганкою

и вступил с ним из Мариенбада, при посредствѣ Кажинскаго, в переписку, просил его прислать старыя чешскія пѣсни, военныя, торженственныя, пиршественныя, а также памятники чешской музыки и пѣнія. Как свидѣтельствуеет письмо Кажинскаго (от 9 августа), Ганка исполнил эту просьбу. Львов готовил, по сообщенію Кажинскаго, оперу «Ундину», почерпнул матеріал для ея «исполненнаго поэзіи» либретто из чешской исторіи, при чем дѣйствіе развивается отчасти на чешской почвѣ в концѣ XIII ст. Фантастическая опера готовилась спеціально для Праги, и русскій текст предполагалось перевести на чешскій языкъ. Кажинскій говорит о «легкой возможности» перевести либретто, очевидно, при содѣйствіи чехов. «Ундина» была поставлена на русской сценѣ в 1847 г. О болѣе близком участіи Ганки в замыслѣ Львова мы ничего сказать не можем, но можно допустить его литературную помощь. Кто мог внушить Львову идею написать оперу на такую оригинальную тему? Откуда у него могли быть, когда он приступал къ сочиненію либретто, хотя бы скромныя познанія о чешской жизни, да еще XIII вѣка? Ганка подарил Львову через Кажинскаго какія-то чешскія книги, а Львов оставил Ганкѣ на память автографъ гимна «Боже, царя храни», в сафьяновом переплетѣ. Это доказательства сношеній русскаго композитора и его чешскаго информатора о чешских матеріях. Во всяком случаѣ, этот фактъ заслуживаетъ вниманія. Тема «Русалки» и «Яньша» при содѣйствіи чешскаго ученаго и поэта получала новую обработку.

II. О нѣкоторых русских эпиграммах у чехов и у поляков.

Эпиграммы, как остроты и вообще всякія *bons mots*, легко странствуютъ из одной страны и литературы ея народа в другую. Перенесеніе их из одной славянской области в другую облегчается близостью славянскихъ языковъ, иногда полною тождественностью понятій и остроумныхъ изреченій в этихъ языкахъ. Знакомство с русскою литературою чешскихъ писателей в половинѣ XIX в. привело их и къ русской эпиграммѣ, в эту эпоху особенно обильной и разнообразной, отражающей борьбу литературныхъ теченій, поучительныхъ в этомъ отношеніи для писателей, творившихъ новую жизнь славянскую, и интересной какъ выраженіе моральныхъ принциповъ русскихъ писателей.

Из чешскихъ писателей первой половины XIX ст. особенную

извѣстность в эпиграмматической области приобрѣли два поэта— Фр. Л. Челаковскій, большой поклонник новой русской поэзіи и народнаго творчества, и Карл Гавличек Боровскій, имѣвшій счастливый случай познакомиться с произведеніями новой русской литературы во время полугодового пребыванія в Москвѣ, в 1842—1843 г. г.

Челаковскій, как свидѣтельствует историк чешской литературы (см. J. Jakubec, Čelakovský a Havlíček, *Obzor liter. a uměl.*, 1900, 1901; его же *Dějiny liter. české*, II, 568), принял теорію эпиграммы от Лессинга и Гердера и оставил весьма значительное количество опытов в этом родѣ произведеній. Из русской литературы он переводил эпиграммы И. И. Дмитріева (*Na Varýna psavšího báseň o člověku, Hrobní nápis spisovateli*), далѣе — перевел четыре его басни, из-за которых у него возникли какія-то недоразумѣнія с цензурой, запретившей басню «Срѣлка» (*Rafička*), с увлеченіем читал вообще стихотворенія Дмитріева (одно из них: «Ж Волгѣ», он цитирует по-русски в письмѣ к другу), наконец перевел шесть надписей и эпиграмм Карамзина, А. Измайлова (*Ἀεὶ τῶ Ἰλίῳ κανά*), Дельвига.

Касаясь эпиграмм Челаковского, слѣдует отмѣтить, что в числѣ их имѣется одна, озаглавленная: «Kdo více k politování» и являющаяся точным переводом нѣмецкой эпиграммы Гауга: «Wer ist mehr zu beklagen» (*Epigramme und vermischte Gedichte von Johann Chr. Friedrich Haug, I Theil. Wien und Prag, 1807, S. 195*). Она совершенно совпадает с извѣстной эпиграммой Дмитріева: «Я разорился от воров», обыкновенно принимаемой за оригинальное произведеніе русскаго поэта и вошедшей даже в учебники русской литературы. Как образец эпиграммы, она была напечатана в статьѣ Н. Остолопова. Из словаря древнія и новыя поэзіи (в Трудах Общ. Любит. Росс. слов. при Имп. Моск. унив., ч. IX, 1817, стр. 67), без указанія однако на ея зависимость от нѣмецкаго оригинала. Изданіе это, равно как и собраніе сочиненій Дмитріева имѣются в библіотекѣ Чешскаго Музея, из собранія В. Ганки, были доступны Челаковскому, который перевел эту эпиграмму с нѣмецкаго оригинала. Его перевод для нас интересен тѣм, что приводит к источнику эпиграммы Дмитріева.

Челаковскій в 1837 г. в Часописи Чешскаго Музея (XI, sv. II) напечатал собраніе (50) эпиграмм, п. з.: «Padesátka z mé tobojky», конфискованное цензурой и только в новѣйшее время полностью перепечатанное. Здѣсь мы встрѣчаем впервые указа-

ніе на знакомство поэта с распространенной среди русских читателей шуткой-игрой именем популярнаго в Россіи Вальтер-Скотта. Вяземскій еще в 1819 г. в письмѣ к А. И. Тургеневу в сердцах обозвал Жуковскаго: »Настоящій Вальтер-скотт!« В новѣйшем сборникѣ »Эпиграмма и сатира« (1935) примѣров эпиграмм с именем Вальтер-Скотта найдем довольно много. Челаковскій приводит в своем сборникѣ, как »истинное происшествіе«, очевидно, воспроизводя в переводѣ русскій анекдот, слѣдующую шутку: »Мнѣ нѣіе русскаго цензора. Какой-то писатель в Москвѣ перевел роман Кенильворт и представил его в цензуру. Цензор, не знавшій до сих пор ни имени Вальтер-Скотта, недоумѣвал по поводу заглавія и на рукописи сдѣлал приблизительно такое заключеніе:

„Mysl překladatelova blahorodna
Zajisté jest vši cti a chvály hodna:
Však myslím, ačtĕ byla bludna jeho věra,
Skotem že předce zvati nesluší Voltaira“.

Переводчик тут же объяснил чешскому читателю, что русское с к о т значит то же, что и чешское s k o t или d o b y t e k, h o v a d o.

Неправильно приписываемая Пушкину эпиграмма на Булгарина: »Всѣ говорят он Вальтер-Скотт« и другія эпиграммы на этого писателя, противника поэта, были несомнѣнно рано извѣстны чехам, прежде всего, по перепискѣ пражских ученых с русскими (Погодиным, Бодянским), ибо не всѣ эпиграммы Пушкина были в то время напечатаны. Близкій друг Погодина Шафарик из личных бесѣд с ним, в дни неоднократнаго пребыванія Погодина в Прагѣ, и из писем его мог знать отзывы его о Булгаринѣ в той формѣ, как его характеризовали эпиграммы. В одном из писем к Погодину (20 іюля 1840) Шафарик прямо называет Булгарина Фигляриным, повторяя это названіе, очевидно, из эпиграммы Пушкина. Шафарик имѣл непріятность из-за отзыва о книгѣ Булгарина («Россія») в Čas. Česk. Mus., 1837, недобросовѣстно использованнаго автором (собственно присвоившим себѣ чужой труд), и назвал его за эту безтактность Raboulist'ом. О Булгаринѣ он составил себѣ представленіе и по извѣстной книгѣ Кеннига и замѣчаніям на нее Мельгунова (Literarische Bilder aus Russland, 1837).

Историки чешской литературы до сих пор мало отмѣтили слѣдов знакомства с музой Пушкина, с его эпиграммами и сати-

рическими стихотвореніями у второго эпиграмматиста Карла Гавличка Боровскаго. Молодой чешскій студент в письмах из Москвы рѣзко и легкомысленно отверг всю русскую литературу той замѣчательной эпохи, с которою он мог ознакомиться основательнѣе, и назвал всѣх русских писателей, вмѣстѣ с Пушкиным, *imitatorum pecus*. Его сатирическому дарованію наиболѣе был близок Гоголь, и ему посвятил Гавличек особенное вниманіе. О Пушкинѣ он нигдѣ не высказался и не оцѣнил его.

Только недавно проф. Фр. Таборскій, в краткой параллели »*Ruškín und Havlíček*« (Prager Presse, 7 Febr. 1937), сдѣлал попытку установить нѣкоторые моменты вліянія Пушкина на творчество Гавличка. Молодой чешскій гость Москвы вывез оттуда (1844) обильную сатирическую жатву: 86 оригинальных эпиграмм, которыя вмѣстѣ с 11 написанными затѣм на родинѣ, в Нѣмецком Бродѣ, по формѣ, духу, манерѣ выраженія и силѣ его изобличают русскую школу и указывают прежде всего на вліяніе Пушкина, хотя по сравненію с эпиграммами русскими онѣ иногда нѣсколько мягче и больше проникнуты юмором. Из эпиграмм Пушкина он перевел полностью, очевидно, по памяти: »В Академіи Наук засѣдает князь Дундук«; она не могла быть извѣстна ему в печати и сохранилась в рукописи Гавличка (V H 39, в собраніи Чешскаго Націон. Музея), под данным ей переводчиком заглавіем: »*Učený epigram*«. Гавличек передал ее со всею рѣзкостью оригинала. Он знал также и смѣлыя, распространявшіяся в рукописях стихотворенія Пушкина. Под вліяніем сатирической рождественской пѣсенки (*Noël*) Гавличек, как полагает Таборскій, создал сатирическіе стишки »*Stadion jako chůva*« (Стадіон, как няня), в коих австрійскій министр убаюкивает чешскаго льва, как у Пушкина мать утѣшает горько плачущаго младенца. Сходство темы и формы обоих стихотвореній весьма близки. В юношеском фрагментѣ »Бова« Пушкина чешскій изслѣдователь склонен видѣть образец для извѣстной политической сатиры Гавличка »Крещеніе св. Владимира« (*Křest sv. Vladimíra*). Это сопоставленіе однако менѣе убѣдительно и потребует еще болѣе тщательнаго анализа. Вообще, по убѣжденію Таборскаго чешская литература обязана Пушкину той смѣлой творческой силой, которая наполнила сатирическій дух Гавличка, способствовала росту и укрѣпленію его.

Сатирическій элемент интересовал Гавличка и в комедіи »Горе от ума«. Он читал ее в Москвѣ, и самое названіе комедіи дало

ему повод распространить мысль автора в видѣ самостоятельной эпиграммы:

„Všichni blázni, milý synu!
ti se snadně obživí;
kdo má rozum, ten má vinu
a za ni trpěti musí“.

Вариант ея:

„Kdo je hloupý, milý synu,
ten se snadno obživí;
ty máš rozum, za tu vinu
každý trpěti musí“.

Как дальнѣйшее видоизмѣненіе эпиграммы, можно разсматривать »Versus memoriales« (Chceš li v strachu, v nepokoji žít).

Не останавливаясь на позднѣйших переводах эпиграмм Пушкина (Сватоплука Чеха 1873, Ел. Красногорской, I. Юнга; в послѣднее время — Яна Ржиги 1936, П. Кржички 1936), отмѣтим только передѣлку I. Махаром извѣстной эпиграммы: »Полугерой, полуневѣжда . . .« (на гр. Воронцова), как показатель популярности ея в чешскомъ кругу читателей. Чешскій поэт использовал ея для того, чтобы свести счеты со своими литературными противниками из среды католическаго духовенства (Českým světem, str. 94):

„Půl Sahuly a Jukla půl,
půl Kavana a hlupce půl,
půl padoucha — všakť naděje,
že na celého vyspěje“.

Острая эпиграмма Пушкина нашла отголосок и в польской литературѣ. С цѣлью заклеить одного из отщепенцев польской революціи 1831 г. Мицкевич нашел у Пушкина образец для эпиграммы (относимой к 1832—1834 г.):

Na Jana Czyńskiego
Wpół jest Żydem, wpół Polakiem,
Wpół Jakubinem, wpół żakiem,
Wpół cywilnym, wpół żołdakiem,
Lecz zato całym łajdakiem“.

Таковы нѣкоторые слѣды вліянія русских эпиграмм в литературе турѣчехов и поляков. Разысканія в этом направленіи слѣдует продолжить.
В. А. Францев.

PAMĚTI A. S. PUŠKINA

SLAVIA

Časopis pro slovanskou filologii

S podporou ministerstva školství a národní osvěty

vydávají

O. HUJER a M. MURKO

Ročník XIV. Sešit 3.

Tiskem a nákladem Československé grafické Unie a. s. v Praze

1937